

Рисунок Марины Медведевой

И ЧЕРНЫЙ, ПИРАТСКИЙ ЛОСКУТ НАД НАМИ

Что общего между ними? Ума не приложу. Может, по ходу письма и выйду на какую-то равнодействующую, объединяющую эти разные образы, судьбы и видения, но сейчас, на первых абзацах, общего между ними только то, что они — теплятся в моей памяти и душе. И такой светло-печальный, затухающий отсвет дают временами откуда-то оттуда, со дна, что я боюсь их, эти разнородные видения, потерять. Окончательно зажить. Заспать.

И что-то потеряется тогда во мне самом.

В середине девяностых — начале двухтысячных я часто бывал в Германии. И русские в Европе еще были желанны, и жив еще был мой старый и даже старенький, но совершенно несгибаемый (это при том, что ходил костляво переломившись в пояснице и крепко, будто плыл супротив волны, загребая длинными, вывернутыми руками) и, казалось, никак неснашиваемый жизнью друг. Отто Загнер. Мюнхенский издатель и книготорговец, получивший некогда ранения на Западном фронте и затем всю оставшуюся жизнь заживлявший раны и упрямо добивавшийся перемен на фронте Восточном: Отто — я звал его Отто Рихардович — считал, что Россия и Германия все должны друг дружке простить. Я в те годы часто бывал у него, в Мюнхене, и еще чаще — в книжной столице Европы, во Франкфурте-на-Майне. Со мной приезжали несколько сотрудников издательства, и в последнее время, когда почти девяностолетний Отто

Рихардович стал уже прихварывать и все чаще оставался дома, я наострил тоже не торчать самолично на книжной ярмарке, куда, собственно, и прилетал, а посылать туда подчиненных, оставаясь сам целыми днями в гостинице. Жили мы тогда в маленьком городке Ханау, что недалеко от Франкфурта. Городок невелик, но известен как минимум двумя достопримечательностями: здесь имеется музей братьев Гримм — сказочники отсюда родом — и здесь же расположена крупнейшая военно-воздушная база американцев — родом из сорок пятого.

Насчет примирения с последними Отто Рихардович мне почему-то никогда ничего не говорил.

С утра, после коллективного завтрака, я отряжал сослуживцев на выставку-ярмарку, а сам наслаждался одиночеством, недостижимым для меня в Москве.

Всю первую половину дня неторопливо писал, или читал, или просто размышлял, лежа на уже застланной кровати с заломленными под затылок руками — номерок настолько мал, что размышлять, даже по-малому, в нем можно только лежа. Иногда, когда на меня находила-таки вообще-то не свойственная мне мания величия, я чувствовал себя в этой гриммовской скорлупке почти что жемчужиной, созревающей невесть к чему. Потом не спеша выходил из своего добровольного заточения, спускался через крошечную, чуть поболее моего номера, старинную площадь с памятником посредине какому-то скромному средневековому рыцарю, чье имя стерлось не только в памяти благодарных сограждан, но и на чугуне, из которого рыцарь отлит,

к речке. Речка тоже сказочная, махонькая, как и все в Ханау, кроме американской авиабазы и ее громоздких, глухих бомбардировщиков, глубокой, извилистой ниткою окаймляла округу, в которой я проживал. Берега ее как бы и не немецкие, особо не обихожены, заросли лесом, по ним с двух сторон вилась — прыг-скок, — повторяя танцующую побужку речушки, тропинка. Места здесь холмистые, речка не только отчаянно вилает подростковыми бедрами, но и еще и пускается впрысдку, и вслед за нею и тропинка, по которой я брел, то взмывала вверх, то, опрометью, срывалась вниз. Осень в Германии наступает позже нашего, и лес вокруг меня, поглощая звуки прильнувшего к нему городка, стоял еще полный, густо-зеленый, но уже почти что без птиц и уже — задумчивый. Тоже, видимо, размышлял о чем-то своем, но пока еще в вертикальном положении. Иногда меня нагоняли велосипедисты, современная разновидность городских сумасшедших, и я тогда брал прямо в кусты.

Шаг за шагом подходил к мосту, ведущему на другую сторону речки. Он заслуживает отдельных слов. Потому что это не просто металлический, как бы из броневых листов, какими, наверное, обшивают американские бомбардировщики, мосток, опоясанный двумя рядами гибких тросов. Нет: под ним шумела плотина. Речка перегорожена чугунными опоками — возможно, и лыцарь отлит в те же незапамятные времена и из той же тяжелой ноздреватой плоти — над ними и протянут мост. Похожий на струну, которую снизу строго перебирает речка. Собственно, на этот шум, ровный, немолчный и странно-странно живой, я и правил, оказавшись еще несколько лет назад впервые на этой своей впоследствии любимой тропке.

Названия речки я не знаю, но она наверняка кровно связана с привольным, осененным волшебными ресницами куц Майном, бесшумно протекающим в здешних далях: я однажды даже проплывал по ней, правда, к сожалению, не брасом, а сидя, на теплоходике. Может, приток, а может, и исток этого роскошного, равнинного полноводия. Течет, стремится явно с не очень отдаленных гор, поэтому и щебет ее под плотину переходит прямо-таки в клеток. Постою, свесив голову вниз, где закипает-закипает, но никак не закипит, похожу по мосту — звуки моих шагов река тотчас снимает и тоже уносит куда-то к Майну, — возвращаюсь к исходной точке и, пересекая лесок, направляюсь к совсем уж миниатюрной площади, ее и площадью-то назвать с натяжкой, так, вагонная площадка, «куточек», как говорят у нас на юге, к своему гаштету.

Не знаю, бывал ли в нем чугунный лыцарь, но его современники там до сих пор гостят. В моем Николе-Александровском, правда, сказали бы более точ-

но и точно: «гостюют». Самим своим происхождением слово «гаштет» обязано немецкому корню Gast — то есть «гость».

Я заявлялся сюда после осенней неспешной прогулки — честно говоря, знакомство с деревьями, даже отдельными, для меня и сегодня не менее любопытно, чем знакомство с людьми, как отдельными, так и с человечеством в целом, — часам к четырем пополудни. Гаштет действительно старый. Его имя, простейшее — Gaschtet, — выложено на узком, недалеко, каменно-чугунном лбу готическим шрифтом. Деревянные лавки с высоченными, королевскими спинками отполированы германскими спинами и не менее германскими задницами — в моей Николе сказали бы: «сахарницами», а я бы добавил: солеными — до черноты и гладкой черствости черного дерева. Половина моего родного села воевала в Великую Отечественную с Германией, но почему-то слово «гаштет» принесли в него уже те, кто не воевал, а всего лишь мирно с л у ж и л в ГДР, и единственный гадюшник в селении, где, к слову, на разливе стояла тогда моя сокрушительно юная, но до девяноста лет пышная крестная мама Ньюра, спокон веку именовался почему-то кабаретом. Видимо, вторая мужская половина селенья воевала еще в восемьсот двенадцатом, с французом, и ее в о с п о м и н а н и я были все-таки более счастливыми.

А может, в ГДР к нашим солдатикам относились уже иначе, чем в сорок пятом: я во всяком случае краешком мальчишеского, но очень чуткого на подобные охальности уха слышал, как мои молодые, уже послевоенные, в отличие от военных, а последних у меня тоже чуть-чуть, на доньшке, после Германии, осталось, хвалились, что молоденькие «фрейлины» куда покладистее, умнее и даже грудастее, что мне, несмышленишу, в том числе и в этих делах, и представить было невозможно (куда ж грудастее моей крестной?!), наших доморослых девчат. И почему-то «фрейлины» в этих похвальбах всегда сочетались с гаштетом: наверное, в Отдельной группе войск солдатам платили все же больше, чем в просто Советской армии, которой со временем причастился и я сам.

Или у юных немок, Валькирий пятидесятих, с женихами было еще туже, чем у их же товарок — по несчастью — в СССР.

Мы же их им и подбросили: думаю, что русских полукровок в Германии сейчас едва ли не больше, чем оставалось их в СССР после сорок первого.

Каждый раз гаштет оказывался почти пуст. Возможно, лишь благодаря мне он и не прогорал. На закуску я всякий раз выбирал что-либо разное, кормили здесь по-деревенски просто, но плотно и вкусно. На первое же всегда заказывал одно и то же: двести граммов не-

немкой водки «дупль корн» и кружку пенного, как из-под плотины, баварского пива. В нашем кабаре тоже пили исключительно так — «с прицепом». Сидел долго. И вскоре в тепер уже, благодаря мне, не совсем пустой каменный мешок с сумрачными, в церковных витражах и с тоже готическими окнами подтягивалась одна и та же компания. Правда, случалось и так: я приходил, они уже сидели. И даже встречали меня приветливыми, выцветшими взглядами.

Мы располагались в разных концах сумеречного зала, но мне их хорошо видно и даже слышно: некоторые из них уже оснащены слуховыми аппаратами в старческих пергаментных ушах. Садилась они строго друг против дружки и даже временами нежно соприкасались невесомыми сединами, чтоб, значит, им тоже слышнее было.

Я понимаю по-немецки. Именно понимаю — говорю плохо. В этом полное мое сходство с нашим недавно помершим престарелым леонбергером Михасем. Он тоже понимал все, по-русски, но говорить не говорил, даже по-русски, хотя и прожил с нами, русскими, без малого шестнадцать лет.

Бабки заказывали примерно то же, что и я. Только шнапса не по двести, а по пятьдесят и пива — не большую, то есть нормальную, а тоже как из речки, махонькую. Не русскую. И продлевали удовольствие еще дольше, чем я: я уходил, а они, провожая меня еще более просветлевшими, чем накануне, взглядами, еще заседали. Именно заседали — Валькирии, сошедшись, ни минуты не сидели молча, и их бескровные, тоже пергаментные, иссеченные морщинами губы безостановочно жевали, казалось, не мюнхенские белые, как бы дотоле раздетые, сосиски, а исключительно слова.

И даже кое-кого пережевывали.

Мужей.

Потому что бабки после первых же общепринятых фраз говорили только о них, перемывали-пережевывали косточки им и даже обмусоливали их. Видимо, косточки эти для них сахарные. Мозговые.

По-немецки я понимаю, потому что в детстве меня учили две замечательные немки.

Первая, еще сельская, была немкой по мужу, потому что пребывала замужем за директором нашего совхоза по фамилии Эрлих, что по-немецки значит ч е с т н ы й (отыщите сегодня, днем с огнем, честного директора, а он действительно был если и не совсем честный, то, по мнению моих дядьев, совхозных шоферов-комбайнеров-трактористов, с п р а в е д л и в ы й, а это, по их же мысли, еще достойнее честности, потому как даже за воровство совхозного зерна Эрлих не с а ж а л, а наказывал, назидал исключительно собственноручными способами).

А она, не по-деревенски худощавая, статная, циркульно перешагивавшая наши лужи в лакированных «шпильках», учила меня до 62-го, пока жива была моя мать. А после 62-го, по с л е матери, уже в городском, буденновском, интернате перехватила меня незабвенная Анна Дмитриевна, немка уже урожденная, пребывавшая, правда, замужем за хохлом, за нашенским городском прокурором, фронтовиком по фамилии М о л и б о г а.

Вон какие фамилии, а не разные там Чайки-Поклонские носили тогда наши, советские прокуроры!

Моли Бога!

И не рыпайся!

И у нашей сельской «немки» — ее звали замечательно и ныне редкостно: К л а в д и я, — и у городской Аннушки, по-достоевски кроткой, худенькой, с большеглазым и плоским лицом, я был лучшим учеником; они любили меня и гордились мною, от Аннушки я даже пробился на краевую олимпиаду по немецкому и занял там аж третье место. Но они обе сильно обрусевшие, поскольку и Эрлих происходил, насколько знаю, из кавказских немецких «колонилов» (не колонизаторов!), и Анна многими поколениями уже укоренена в России. Наверное, поэтому мой разговорный немецкий немцы натуральные, современные, немецкие, не понимают. Как не понимали мы, домочадцы, и редкий — он вовсе не был пустобрехом — породистый, как залп «Авторы», лай ныне почившего Михася...

Насколько я был способен понять, бабки жаловались друг дружке на своих мужей.

Один — пьет.

Впрочем, как выяснялось через несколько фраз, пили у всех.

Другой — бабник.

Это тоже оказывалось вовсе не индивидуальным пороком.

Третий — после перебора, чуть ли не в этом же гаштете, а также, наверняка, и прелюбодейства, — рупкоприкладствует.

Тут слушательницы потупляли взоры и даже прикладывали ко взорам туго, по-молодому, по-немецки накрахмаленные платочки и даже смахивали ими выцветшие, как и взоры, слезы, а солировавшая, наиболее, — откровенная, еще и пугливо озиралась по сторонам: можно подумать, что муж вот-вот войдет сюда же.

Осуждали, жалились друг дружке молодо, рьяно и — любовно. Ну да, видимо, и немкам известно: лупит — значит, любит.

Мне любопытно наблюдать за этими накрахмаленными и, видимо, пронафталиненными ведьмами.

Особенно после первой соточки. Я даже оборачивался к ним вполоборота.



Но только на четвертый-пятый день моего сельско-буденновского знания немецкого хватило, чтобы понять: мужей этих окаянных и возлюбленных давным-давно нету в живых.

Ужас!

Рядом со мною спивались не просто вдовы, а — вдовы Второй мировой.

Вряд ли они догадывались, что я — русский: я ведь, в отличие от них, накатывал молча.

Мужиков как минимум полвека нету на свете, и косточки давно истлели, а их, истлевших, все перемывали и перемывали — какая же крепкая это любовь! — думал я. Даже если старухи начинали с каких-либо других, посторонних тем — погода, бестолковые дети и прекрасные внуки, цены, здоровье, индексация вдовьих пенсий, — все равно съезжали вскорости на эту, излюбленную. Потугостороннюю. Я рассеянно слышал их и думал о своем. Как непохожи эти кукольные, еще и потому что в кукольных же париках, с петушиными, в дешевых бусах, шейками, стерилизованно-чистенькие старушечки на тех военных вдов, которых я застал на своем веку у нас в России...

Уже хотя бы потому, что те, наши, куда моложе — ни одна из них, во всяком случае из знакомых мне, до девятого десятка не дожила. В моей деревне в пятидесятые они были костлявы, в замызганных ватных фуфай-

ках, чьи рукава до слюдяного блеска зализаны телятами, а из рукавов торчали красные, узловатые, разношенные работой и совершенно неженские руки: военные вдовы Николы почему-то все были обвешаны, как репьями, детьми, тогда, правда, уже подростковыми. Перед войнами, видимо, женщины всегда неотразимо красивы и обольстительны.

А после войны, вдовами, уже нет.

Старухами я их почти не видел — сошли вслед за мужьями. А те, кто все-таки доживал до старости, почему-то предпочитали сходиться с ума. Бабушка Анисья — ее сгинувший на фронте муж приходился дядькою моей матери — полетела. Без метлы. Собственными сухонькими, цыганскими и порепанными ногами: стала носиться по селу, сверкая щиколотками и угольными пятками, взмахивая по-птичьи костлявыми руками и не чуя земли под собою, так, что ни один из троих ее сыновей, взрослых мужиков, один из которых, старший, тоже хлебнул, вслед за батькою, войны, но, слава богу, воротился с нее даже не покалеченным, только чуть-чуть шалавым, не могли догнать и приземлить ее.

Птичка небесная, обгорело-черная, с выпнувшимися голыми ключицами и ликующим взглядом, она и ночевала теперь все чаще не дома и не в селе даже, а где-то в поле, в гнезде, где, как и в небе, ее никому не сыскать.

Она и умерла — как окончательно, теперь уже действительно в небо, — вылетела.

Бабушка Анисья, когда еще не летала, навещала, еще в чувяках, и нас с матерью, хотя и не была нам родственной по крови. Она с сыновьями жила на другой стороне села, по другую сторону балки, в землянке, доставшейся ей по какому-то хитросплетению судьбы от моей матери, круглой сироты. Землянка куда беднее нашей полномерной хаты: вросшая по подоконники в землю, с провисающим, как у голодной худобы, как звали у нас скотину, хребтом. Но — земельный надел ее спускался вниз, в балку, по которой после отдаленных ливней временами неслась и бурлила сорная вода. Наша же земля поднималась в гору, ничего, кроме полыни и дикого паслена, на ней не произрастало, да мы ничего и не сажали. Огромный надел наш огорожен с одной стороны осыпающейся, мелеющей с годами канавой, «загатой», по глиняному гребню которой буйствовали колюче-неприступные кусты дерезы. Мы их называли дерезой, но это была, как я теперь понимаю, разновидность очень модной сейчас и якобы целебной ягоды «годжа» с удивительно римским названием — «лиций». Цвела она по весне меленькими голубенькими цветочками и давала потом редкие, ярко-красные, продолговатые ягодки, сперва горькие и только к зиме терпко-сладкие. Раз-два в год шумно пробежавшая по балке вода незримо поднималась, просачивалась к травянистым поверхностям ее пологих скатов — вот поэтому спускавшиеся к ней огороды, даже в нашей быстро сгоравшей степи, были куда плодovieе, чем наши, совсем уж пустынные выгоны.

В этом смысле бывшая мамина землянка, оставленная ею еще в девичестве, сама по себе была почти что кормилицей по сравнению с нашим саманным пятистенком, сам порог которого уже жадно лизала всепроникающая и жесткая, как кунжут, полынь.

Бабушка всегда приходила к нам с узелком: яблоки, груши, помидоры-огурцы. Гостинец. Его передавала, посылала, как передатку на наши выселки, даже как будто бы не она, а сама отчая мамина земляночка, в которой она, мама, когда-то, еще девочкой, еще при живых отце и матери, была счастлива.

Передача от счастья.

Я так радовался этому узелку, что однажды, завидев входящую во двор к нам бабулю, вместо «здравствуйте» воскликнул сразу, загодя:

— Спасибо!

И покраснел.

...Поглядывал на немок и думал: вот бы им подвинуться, потесниться. И дать место и Анисье — она много и не займет, самую малость. Либо той, тоже чистенькой, набожной, в белом платочке «домиком».

Либо другой, уже немезной, летающей поверх полыни, быстро-быстро семена черными, сухими, в цыпках, птичьими ножонками, совсем уже невесомой — она и летит, как несется по воздуху сажистые ошметки, траурные хлопья мировых пожарищ.

Те, немки — пух, божьи одуванчики; моя же — опасная (именно после нее взлетели, поветрием, еще несколько николевских старух) обгоревшая головешка непосредственно из преисподней...

Еду где-то в конце шестидесятых. В пазике. Добираюсь из какой-то командировки в Буденновск, домой. Я тогда работал в Ставрополе, а жена с дочкой еще жили в Буденновске. Автобус местный, идет-едет из Благодарного, заворачивая в каждое из окрестных селений. Рыдван скрипит и скрежещет, переваливаясь с боку на бок. Я устал, я дремлю. В «Большевицкой „Искре“» — только сейчас, полвека спустя, сообразил, что село-то названо по газете, тогда же об этом даже не задумывался, а ведь сам тоже работал в газете! — грузно подсели несколько старух. Русские, в черном и длиннополом — уже поздняя осень. Стенобитно тяжелые и неуклюжие. Как яйценосные гусыни — да в кошелке одной из них и сидела гусыня, возможно, на яйцах. С оклунками и прочим скарбом. Уселась, тесно и даже слитно, прямо напротив меня, на переднем сиденье без перегородок, развернутом в салон, если можно назвать таковым изысканным существительным помещилице нашего допотопного ковчега. Они тяжело, тоже стенобитно молчат, единой темной и тяжелой массой раскачиваясь вместе с ковчегом из стороны в сторону. Я смутно вижу их сквозь сон и смеженные ресницы.

С похорон? На похороны?

Мне лет двадцать, им — столько, сколько мне сейчас.

Мы едем и едем, влачимся и влачимся — уже который десяток лет.

Как ни плотно сидят они — так еще, к зиме, согревая друг дружку, унижают, тяжело прогибая их, телеграфные провода угрюмые, бормочущие псалмы вороны, — а Кудо-сан между ними протиснулся бы. Старенький и невероятно тощий, похожий на траченное, уже крепко поведенное годами лезвие перочинного ножика, японец. Наш переводчик из тысяча девятьсот восемьдесят пятого. Сморщенное личико у него тоже узкое, острое, правда, с копной еще черных и прямых, перегорелых так, что и поседеть не могут, волос, которые он забрасывал назад характерным движением головы, и младенчески узенькой, табачного цвета, пястью — он точно бы всунулся, поместился бы между объемными нашими старухами, даже не поранив ни одну из них. Возил по Японии нашу небольшую

делегацию Союза журналистов СССР. Легкий на ногу, вездесущий и сноровистый — на прощание за ночь каждому из нас спроворил по фотоальбому, «фотолетописи», как он выразился, нашего пребывания в Стране восходящего солнца — и не по-японски словоохотливый. И тоже — вдовец.

— Умерла? — сочувственно спросил я.

— Да нет, — неожиданно кратко ответил Кудо-сан. — Просто я был в плену у вас. Семь лет. Семь, — грустно повторил он.

Я так и знал! Просто ни в каких университетах такой русской скороговорке не обучат. Не успеют. Только в плену.

И вспомнил, что и дядька мой родной, Сергей, тоже воевал в ту самую. Вторую русско-японскую. И в общей сложности, по совпадению, пробыл на действительной аж семь лет. В 85-м он тоже еще был жив — скончался в 91-м. Вместе со страной, которую защищал. С Советским Союзом...

Так почему-то и едем мы все эти годы и годы. Полупрозрачные уже, как на стекле нарисованные, немки, русские стенобитные старухи в длиннополых черных, монашеских платьях, с суровыми лицами и плотно запечатанными морщинами устами — сквозь их гробовое молчание мне все-таки мнится и мнится заунывное псаломное бормотание — и дотла иссушенный жизненным зноем дедок-японец. Все стрекочущий и стрекочущий, как скворец на проволоке, и только в одном месте вдруг запнувшийся. Вдруг досрочно поставивший точку.

Так и сидят, мерно раскачиваясь на проселочных ухабах, супротив меня. И я, тоже враскачку, по-прежнему смутно вижу их. Сквозь сон и сон.

И бабушка Анисья — тоже опасная большевистская искра, только теперь уже без каких-либо кавычек, сажистым, сгоревшим пиратским лоскутком веет и веет где-то над нами. В небесах. Повторяя там земной, извилистый путь нашего угрюмого ковчега.

Продолжение следует.

